

## ДЕНЬ ТОПОЛИНОГО ПУХА

На койке, головой к окну, лежит женщина. Сзади, сквозь оконные щели, в пространство между рамами потихоньку набивается нечто похожее на вату, которой эти щели законопачивают на зиму. Но женщина не видит окна. Она не видит также и того, что под ее койкой, там, где стоит эмалированное судно с красной надписью РЕАНИМАЦИЯ, пол покрыт рыхлым сероватым слоем этой же — не то ваты, не то лунной пыли. «Черт знает что! — говорит проходящая мимо красиво подкрашенная медсестра. — Опять налетело». Она произносит это так, словно в том виновата женщина, лежащая головой к окну.

Реанимационную санитарку сегодня целый день вызывают в вестибюль. Она каждый раз выбегает в надежде, но это снова переминаются родственники неизвестных ей больных. Она объясняет, что больных этих на реанимации уже нет, они, видимо, подняты на отделение, что она сегодня здесь вообще первый день, — но дрожащие руки суют ей яблоки, апельсины, конфеты, какие-то домашние пирожки, и санитарка все это отпихивает, как ребенок отпихивает ложку с невкусным. А самое ужасное, что в нагрудный и боковые карманы халата ей без конца пытаются затиснуть скомканные зеленые бумажки — тем постыдным, шкодливым движением, каким на экзамене подкидывают «шпору». Родственники не верят, что санитарка не имеет отношения к тем, кто им дорог, или не хотят этого понимать, потому что она единственная санитарка во всем корпусе, и, послушно кивая в ответ на ее объяснения, родственники, с заискивающей улыбкой, просят с м о т р е т ь у ж п о л у ч ш е. «Не страшно, обстреляешься, — успокаивает ее дежурный хирург. — А трульники, конечно, не бери. Чего там! — он повышает голос, чтобы слышала красиво подкрашенная медсестра. — Скажи, пусть тащат сразу уж триста!» — Он соединяет ладони, протягивая их лодочками вперед и вверх, словно вымаливая у неба эти триста рублей.

затем резко хлопает ими и победно предъявляет медсестре. «Комара ухайдакали, бесстрашный вы наш?» — ангелочком вопрошает она. «На черта мне комар? Я завтра письмочко получу», — со значением смотрит на нее хирург. Над его ладонями медленно всплывает тополиная пушинка — белый клочок с семечком.



«Девочка, — с виноватой улыбкой шепчет лежащая головой к окну, — дай мне водички... Пожалуйста...» — «Вам нельзя воды, врач не велел мне...» — «Ну капельку одну... капельку можно...» — «Да не могу я, поймите!...» — «Врач не узнает... разок попить...» — «Вам будет хуже, поверьте. Потерпите до завтра, постарайтесь... Давайте я вам губы смочу, а больше нельзя, не просите, ладно?» Санитарка наматывает на пинцет клочок ваты, окунает его в белую, с носиком, кружку. Невозможно смотреть, с какой судорожной жадностью женщина хватается губами этот жалкий тампон, громко высасывает его, как потом беспомощно тянет обложечный желтым языком в немой мольбе смочить еще. Санитарка еще раз окунает ватку в поильник. «Спасибо... — лепечет женщина. Засохший рот, оживленный каплей воды, способен шелестеть чуть внятней. — Дай Бог тебе здоровья, милая...» Санитарке нестерпимо стыдно, что женщина лежит с виноватым лицом, что жалко благодарит за ерунду. Но тяжелей всего, что женщина сегодня, наверное, так и будет целый день просить воды, — просить с беззащитностью животного, — а она так и не получит разрешения эту воду ей дать. «Хотите, я полотенце намочу?» — не дожидаясь ответа, санитарка летит в перевязочную — и там долго держит под сильной струей воды вафельное полотенце со штампом «реан.». Вода становится все холодней, и, слава Богу, женщина не слышит из палаты этот вожденный плеск и вряд ли догадывается, что санитарка пошла туда специально, ведь в палате тоже есть кран. Она очень быстро обтирает женские лицо, стараясь не соблазнить напряженные губы, — потом шею, грудь, руки. Потом снова долго смачивает полотенце, крепко выжимает и кладет женщине на лоб. Та пытается бодро улыбнуться, поблагодарить хоть глазами, но в них по-прежнему стоит виноватое хоть глоток...

Сегодня с самого утра на улице и здесь, в отделении, нагнетается тупая обморочная духота. Окна открывать бесполезно, да и небезопасно, потому что время от времени уплотненный законный воздух врезается широким лезвием душного, не приносящего облегчения ветра, и тогда, с его порывом, врывается в прорехи пространства этот

надоедливый, тополиный пух. Несколько дней назад он еще весело носился, скатываясь на асфальте в легкие белые пузыри, белой пеной поигрывал в кустах, он трепетал белоснежным покрывалом на свежей траве, и мальчишки поджигали его; пух, не задерживаясь нигде надолго, летал и летал беспрестанно — высоко, вольно, словно выматривая все новые места для беззаботного своего порхания, — но сегодня вдруг сник, обратясь в мохнатую пыль, и тусклая духота припечатала его в серой бездвижности. Еще вчера пух был игрив; сегодня — он сор после игры, бесконечно противный изнуренному телу.

— Там к тебе, между прочим, пришли, — роняет медсестра.

Санитарка, делая очень прямую спину, медленно выплывает в коридор, там резко оглядывается — и пулей вылетает в вестибюль. Но вестибюль пуст. Она выскакивает во двор. Тоже пусто. Гибельная духота истребила даже невинное пижамное копошение на больничных скамейках. В волнении она возвращается в корпус. Под лестницей, ведущей на хирургические отделения, прохладной дырой зияет черная внутренность подвала — там гардероб для больничного персонала. Она нерешительно спускается по каменным ступенькам.

— У вас там все такие хорошенькие? — скалится снизу гость. В руках у него тюльпаны, которые он держит, как веник. Черная, в обтяжку футболка, словно ватой, облеплена пухом; черная курчавая борода обрамляет сочный, очень красный рот, и борода эта тоже вся в сплошь застрявших белых клочьях, словно гость жрал живых кур.

Потом она провожает его до ворот больницы. Лужи на асфальтированных дорожках, еще не просохшие после рухнувшего неделю назад ливня, похожи нынче на мутные зеркала, заросшие вековой пылью. Пух покрывает их глухим толстым слоем, но при малейшем движении ветерка верхние клочки его судорожно срываются — в последней попытке что-то изменить. Пух цепляется за ресницы, сором летит в глаза, он въедается в волосы, липнет к зудящему, потному телу, безжалостно забивается в уши, нос, глотку; ему все равно, где прорасти свое семечко — в земле, в человеке, сквозь камень ли пробить свой побег, чтобы дать жизнь новым легким семенам.

Возвратясь в реанимацию, она видит, что женщина, лежащая головой к окну, закрыла глаза. В ее ноздри теперь вставлены две тоненькие трубочки, ветвящиеся от прозрачной кислородной трубки потолка, что тянется над койкой вдоль всей стены. Наверное, ей теперь легче дышать, в этой отчаянной духоте.

В перевязочной санитарка наполняет водой пустую бутылку из-под глюкозы, оборачивает ее вощеной бумагой, ставит туда тюльпаны. Войдя в палату, она тихо ставит букет на тумбочку возле женщины. «Пускай стоят, — опережает она ее виноватую улыбку, пока женщина медленно открывает глаза. — Это мои цветы, пускай до утра тут побудут?» Женщина пытается разлепить губы; их неловкое движение означает ну за чем вы... Одна трубочка выбивается из ноздри и подрагивает над верхней губой. Санитарка осторожно вставляет трубочку на место, удивляясь, как непрочна она там держится.

В маленькой палате реанимации, разделенной перегородкой, стоят только две койки: на одной лежит женщина с трубочками в носу, вторая пуста, — но санитарке работы хватает; она дежурит сегодня свои первые сутки и по приходе чуть ли не с порога заявила: готова делать что угодно, только, пожалуйста, освободите от покойников. Подкрашенная медсестра не сразу даже и поняла, о чем речь: «Эти ты про жмуриков, что ли? Так с ними возни как раз немного — только одну ногу подписать зеленой: вот банка, вот палочка. В морг тебя, конечно, одну не пошлю, тебе не допереть, а спирту для ихних санитаров я всегда отолью...» Но санитарка во время этой тирады с таким отчаянием мотала головой, что медсестра, изобразив подведенными глазами ну и дура, бросила через плечо: «Мне же лучше», — и удалилась по своим делам. Однако эту мольбу и готовность делать все что угодно, — запомнила.

«Девочка, — тихо зовет ее женщина с трубочками в носу, — накрой мне, милая, ноги. Пожалуйста... Что-то замерзли...» Женщина сползла с подушки, и желтые ступни ее упираются в металлические прутья коечной спинки. Санитарка помогает женщине лечь поудобнее, потом складывает четверо байковое одеяло и кладет ей на ноги, подоткнув со всех сторон. «Все равно мерзнут... — шелестит женщина; она странно возбуждена, куда-то подевалась ее виноватая улыбка. — Натри мне их, милая, погрей... Пожалуйста...» Странно, что они мерзнут в такой духоте, но женщина лежит ногами к дверям, и, наверное, легкий сквознячок застудил их. Санитарка принимается изо всех сил растирать сухие шафранные ступни.

«Ты чем занялась? — вскидывает выщипанные брови проходящая медсестра. — Вот дурью человек мается!» Женщина лежит, закрыв глаза, и, наверное, плохо слышит, но, главное, она не видит, что санитарка, продолжая растирать ей ступни, немного теряет. «Я сейчас, одну секунду»

дочку», — говорит она женщине успокоительно и вместе притворно-уверенно, как говорят доктора.

«Почему вы сказали, что я маюсь дурью?» — как можно тверже спрашивает она, подойдя к медицинскому столу и изо всех сил скрывая смущение. «Ты чем занялась? — раздраженно повторяет медсестра. — Не видишь, что ли, отходит». — «В каком смысле?» — спрашивает санитарка. «У вас что — все в институте с таким прибабахом? — изумляется медсестра. — А еще на врачей учатся! Иди, вон мусор лучше вынеси. Потом банки на анализы подпишешь...»

Санитарка несет по больничному двору эмалированное ведро, набитое вперемешку пустыми коробочками из-под лекарств, окровавленными бинтами, битыми ампулами, резко пахнущей ватой. Нескончаемый световой день уже перевалил к вечеру, потому что безжалостная духота стусилась в гигантский — от неба до земли — воздушный тромб, и, кажется, если его не протолкнуть, не сдвинуть, — он задушит всё живое. Внутри этого недвижимого марева, этой глыбы плавящегося стекла еще тоненько подрагивают кое-где проталинки воздуха, и, как только в них принимается пульсировать нервный предгрозово-вегеток, — тополиный пух судорожно взвивается вверх, чтобы устремиться прочь по разряжающимся воздушным тоннелям, которые, расширяясь, пытаются взломать изнутри этот омертвелый объем. Порывы ветра усиливаются — гроза разразится скоро, — и летит, летит тополиный пух — в слепой, безумной жакде размножения; он жадно цепляется за любую возможность продлить жизнь, он заполняет собою любые, даже непригодные пространства, даже те, где никогда не прорасти семечку, не пустить корешки, не дать побег, — но пух летит, летит, — набиваясь в холодные каменные подвалы, скопляясь на захламленных чердаках, рыхлым пеплом засыпая внутри человечьи жилища, цепляясь за одежду, листья цветов и деревьев, — и снова летит, летит, хлещет щедрым потоком в слепой и жалкой правоте своей сухая горячая сперма лета.

Вернувшись в реанимацию, санитарка видит, что теперь уже обе трубочки выбились из ноздрей женщины. Их надо бы укрепить лейкопластырем, но она не решается подойти к медсестре и потихоньку отправляется за дежурным хирургом. Хирург входит в палату, плотно заложив руки в карманы, и неестественно громко обращается к женщине: «Ну?! Как у нас тут дела?! Чего бы нам хотелось?!» Не открывая глаз, женщина неожиданно ясно отвечает: «Холодного чаю... с лимоном...» Хирург, глядя в сторону, говорит непонятно кому: «Ох! Да у нас тут экзотические желания, —

и велит медсестре укрепить трубочки лейкопластырем. — Ну, а может, чего-то более доступного? Лежать удобно?» — продолжал хирург.

Но женщина не откликается. Хирург как-то особенно цепко вглядывается в ее лицо, потом, раскачиваясь с носка на пятку, принимается лекционно излагать санитарке: «Ну что?.. Тридцать шесть лет. Рак печени. Разрезали: вот такие узлы, — он достает из карманов крупные свои кулаки и подносит их санитарке к лицу. — Зашили...» Санитарка, торопливо кивая, косится на женщину со страхом: почему хирург так уверен, что она ничего не слышит?.. Внезапно женщина проборматывает что-то неясное; сквозь путаницу прорывается: «...вынесите меня на воздух... на воздух...»

«Скоро! Вынесут!» — с неожиданной злобой говорит хирург и ожесточенно, с внезапной силой ударяет друга о друга указательными пальцами, образуя над лицом женщины молниеносный крест.

И выходит прочь, не взглянув на красиво смазливую медсестру.

А санитарка продолжает летать на побегушках, но теперь она старается не смотреть в сторону окна. Ночью, у дверей палаты, она натывается на лифтершу и гардеробщицу. Они, с плохо скрываемым любопытством, глядят из коридора на то, что лежит сейчас ногами к дверям.

Потом зрителей отгоняют две операционные медсестры, вкатывая в палату очень грузную старуху, они перекалывают ее за перегородкой на свободную койку. Старуха только начинает выходить из наркоза; она безостановочно, очень быстро мотает головой по подушке, при этом же заполошно вопя: «О-о-о-й-ей! покатила моя голова-а-а! держите мою голову-у-у!» Видно, голова у нее жутко кружится. Санитарка с силой сжимает ей виски, придавливая голову к подушке. «Успокойтесь, — говорит она, как ребенку, — успокойтесь, я прошу. Операцию вам уже сделали, — она растягивает слова, убаюкивая старуху. — Уже сделали, слышите?.. Пожалуйста, бабушка!..» Но это на редкость сильная старуха! Она так и норовит вырваться, чтобы снова покатить свою голову неизвестно куда. Санитарка снова сжимает ее, всем тоненьким телом помогая своим рукам, и ей нравится эта неожиданная сила в старухе.

Старуха срочно оперирована по поводу острой кишечной непроходимости, и сейчас из нее начинает безудержно хлестать жидкий кал. Санитарка с удесятеренной силой выдергивает из-под старухи грязное, подмывает ее теплой водой, протирает клеенку, застилает чистое белье. Она продельывает это снова и снова, но кал так и хлещет, притом в самые неожиданные моменты, так что никакое судно не помогает. Но она с веселой готовностью перестилает и

перестилает грузную старуху, мысленно приговаривая давай. бабушка, давай еще, милая, и уже не обращает внимания на явное неудовольствие медсестры, запретившей транжирить белье, не замечает тяжести приподнимаемой туши, смеется, слушая простонародную старухину матерщину, и ей не противен густой тяжкий смрад теплых человеческих испражнений, потому что это запах, присущий живому, несравнимо прекрасней того неподвижного, тихого, чистого и всякого запаха пока лишенного, что лежит сейчас за перегородкой.

Утром койка за перегородкой пуста.

Санитарка протирает на ней лизолом клеенку, моет пол. Лизол до рвоты воняет тухлой колбасой, руки от него мертвеют, но это все равно здорово, потому что через несколько минут, девочка это уже знает, они начнут чувствовать снова. Тюльпаны она оставляет на тумбочке. Цветы впитали такое, после чего им не место в живом доме.

А на улице тополиного пуха больше нет. Шедший всю ночь дождь насмерть прибил его к асфальту, а те клочки, которые, пытаясь уцелеть, забились в щели и закоулки, без труда развеял легкий ветер и тоже уничтожил дождь.

